

Авраам Б. Иегошуа

ИСТОРИЯ
РАЗВЕДЕННОЙ
АРФИСТКИ



*Published with the support of The Institute for the Translation
of Hebrew Literature, Israel and the Consulate
General of Israel, St. Petersburg*



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

אברהם ב. יהושע

ניצבת

ИСТОРИЯ
РАЗВЕДЕННОЙ
АРФИСТКИ

1

В четыре поутру дал о себе знать будильник мобильного телефона, отставший ровно на сутки, поскольку вчера она забыла его переключить, и теперь в воздухе все плыла и плыла мелодия, полная томной печали, введенная в гаджет пожилым флейтистом, похоже, чтобы она помнила о нем все то время, пока она еще оставалась в Израиле. Тем не менее, когда тишина воцарилась вновь, она только еще сильнее свернулась под стеганым толстым родительским одеялом, никак не реагируя на прерванный подобным образом сон. Вместо этого она надавила на рычаг, и электричество послушно изменило наклон изголовья, так что она даже с опущенной головой способна была разглядеть светлеющее иерусалимское небо, в котором можно было увидеть планету, чьим именем она названа.

Когда она была совсем еще ребенком, отец говорил ей, чтобы она всегда искала в небе эту планету – ранним утром или после заката. «В случае если ты не обнаружишь ее на небе, – говорил он, – важно, чтобы ты,

в конце концов, нашла себя хотя бы на луне, пусть даже луна и меньше твоей планеты... пусть даже, как твой братик, который меньше тебя, но для нас ни в чем тебе не уступает, поскольку к нам он ближе и важен не меньше». Так что во время этого посещения Израиля – не исключено, что по причине вынужденной ее безработицы или временной занятости в массовке, при которой время от времени требовалось работать в ночную смену, она часто поднимала взор к израильскому небу, менее затянутому тучами, чем такое же небо в Европе.

Во время кратких посещений Израиля в годы, предшествовавшие смерти ее отца, гораздо чаще проводила она свои досуги со старыми друзьями по музыкальной академии, отдавая им преимущество перед родительским домом. Вопреки тому, что думал по этому поводу брат ее, Хони, причиной было вовсе не желание оказаться подальше от все новых и новых, по большей части ультраортодоксальных, соседей, бросавших «черную» тень на респектабельность родительского квартала. На самом деле она, которая в предшествовавшие годы и впрямь старалась держаться подальше от Иерусалима, наслаждаясь безопасностью и свободомыслием европейской среды обитания, с удивительной легкостью поверила в возможность респектабельного и терпимого сосуществования с ультраортодоксальным меньшинством, пусть даже недвусмысленно проявлявшим все признаки желания превратиться в большинство. Кроме всего прочего, во времена ее юности, когда она часами репетировала даже после наступления субботы, соседи если и испытывали недовольство, никогда не протестовали.

– Нет сомнения, что в библейские времена во времена религиозных праздников молились под звуки арфы, – говаривал ей мистер Померанц, красивый хасид, живший этажом выше. – Потому что для бого-

боязненного человека нет ничего более приятного, чем мысль о ком-то, кто подобно тебе тоже готовится к пришествию Мессии.

– Но разрешат ли они при этом девушке, вроде меня, играть на музыкальном инструменте в новом храме? – настойчиво допытывалась юная исполнительница, заливаясь краской.

– Если эта девушка будет похожа на тебя, – уверял ее мужчина, пристально глядя на нее, – разрешат. А если во время прихода Мессии священнослужители станут возражать из-за того, что ты девушка, мы тут же превратим тебя в красивейшего парня.

Даже столь незначительное воспоминание укрепило в ней веру в местную атмосферу толерантности, в отличие от ее брата, который опасался влияния ультраортодоксов, окружавших его родителей. Нога без недовольства наблюдала за суматошной суетой их жизни, не жалуясь и не злясь, а просто развлекаясь, подобно туристу, доброжелательным взглядом готово принять многоцветную палитру мироздания, включая готовность впитать все краски и звуки всех песен, звучащих на всех языках мира и любых инструментах.

После замужества несколько лет она прожила со своим мужем Ури, но после того, как рассталась и с городом и с мужем, редкие свои пятничные, поздние возвращения предпочитала проводить в родительском доме в Тель-Авиве. Интимная жизнь ее родителей, которая с годами становилась все интенсивнее, не делала собственное ее пребывание дома более легким... скорее наоборот. Родители никак не комментировали ее нежелание обзаводиться потомством, предпочитая сохранять в доме дух вынужденной мирной безмятежности, но всем своим существом она чувствовала, что старшее поколение испытывало своего рода облегчение, когда она проводила ночные часы вне их личного

пространства, так что она старалась своим присутствием не вторгаться в ночную жизнь престарелой пары, с каждым годом все энергичнее предававшейся страстным объятиям на двуспальной, но старой и узкой деревянной кровати, где они сплетались в объятиях, полных безмятежной гармонии. И когда один из них просыпался внезапно, встревоженный пугающим сном, другой немедленно просыпался тоже, разбуженный необъяснимой тревогой, продолжая обсуждение возникшей проблемы, необъяснимым образом хорошо знакомой и словно продолжавшейся внутри них в недрах самого глубокого сна.

Однажды, во время разыгравшейся в одну из пятничных ночей бури, потеряв надежду дожидаться последнего автобуса, которым она могла бы вернуться в Тель-Авив, она вынуждена была остаться, благо ничто не мешало улечься ей в ее же бывшей детской комнате, где она и расположилась на ночь, прислушиваясь к завыванию ветра и громовым раскатам, и при вспышке молнии увидела вдруг своего отца, маленькими шажками продвигавшегося из одной комнаты в другую – с покорно опущенной головой и ладонями, прижатými к груди наподобие того, как это делают буддисты.

С двуспальной кровати донесся голос, в котором нетерпение страсти лишь незначительно смягчено было вежливостью.

– Ну, и что стряслось с тобой на этот раз?

– Гром и молния. Они внезапно превратили меня из иудея в китайца, – извиняющимся шепотом ответил отец. При этом голова новообращенного азиата мелко подрагивала в такт шажкам.

– Но китайцы так не ходят!

– Что?

– Они никогда не ходят так. Китайцы.

– Тогда кто же, по-твоему, ходит так?

– Японцы. Только японцы.

– Тогда, значит, я – японец, – уступил отец, укорачивая свои шаги и огибая узкую двуспальную кровать, склоняясь при этом над новобрачной времен его юности, лежавшей перед ним. – Что могу я сделать, любовь моя? Буря перенесла меня из Китая в Японию и превратила в японца.

2

Человеку, в котором китаец оспаривал свое первородство с японцем, в момент смерти было семьдесят пять лет, и он до последнего вздоха оставался неисправимым шутником и остроумцем. В последнюю ночь жена его проснулась, чтобы закончить мысль, которая пришла ей в голову за минуту до того, как она уснула, но ответом ей было только молчание. Поначалу это молчание она решила считать знаком согласия, но затем смутное подозрение овладело ею. Она потрогала его, сначала почти невесомо, затем чуть сильнее; затем она... одним словом, через какое-то время она поняла, что спутник ее жизни покинул этот мир без боли и жалоб на судьбу.

Во время, следовавшее за процедурой похорон, когда она переживала свое горе в окружении родных и друзей, она не могла скрыть своего изумления, равно как и чувства обиды на то, как бестактно и, что уж тут скрывать, – грубо, в полном молчании он покинул ее. Поскольку по роду занятий муж ее при жизни, разумеется, был инженером, руководившим департаментом водного хозяйства города Иерусалима, она с некоторой едкостью шутила, что он-де в тайне от нее приготовился к собственной смерти, прекрыв подачу кровяного потока к собственным мозгам – наподобие того, как

некогда он перекрыл подачу воды в систему водоснабжения всего квартала проживания ультраортодоксов, отказавшихся оплачивать счета иерусалимскому муниципалитету.

– Сообрази он открыть мне секрет легкой смерти, – жаловалась она дочери и сыну, – я бы избавила вас от неизбежных и ненужных испытаний, связанных с моим уходом, – испытаний, которые продлятся дольше и будут тяжелее для любого из нас.

– Все испытания мы превозможем, – торжественно обещал ее сын, – при условии, что ты, в конечном итоге, покинешь Иерусалим. Продай свою квартиру – ее ценность падает с каждым днем из-за нашествия ультраортодоксов, и перебирайся в пансион для пенсионеров в Тель-Авиве, рядышком с моим домом. Поближе к своим внукам, которые сейчас по субботам боятся навещать тебя, пока ты живешь в Иерусалиме.

– Они боятся! Чего?

– Религиозных фанатиков, которые забрасывают машины камнями.

– Тогда паркуй машину на границе Меа-Шеарим*... это будет хорошим упражнением. Заодно прогуляешься с детишками. Мне кажется, что страх перед ультраортодоксами унизителен.

– Это не совсем обычный страх. Это нечто вроде отращения.

– Отвращение? Почему? Все они ведь обыкновенные люди. Такие же, как и везде – одни получше, другие похуже.

– Разумеется. Только если рассматривать их по отдельности. Все они похожи друг на друга. Но будь они даже божьими ангелами, она не станут ухаживать за тобой. Так что пусть остаются там, где есть, но ты

* Меа-Шеарим – один из старейших районов Иерусалима, место массового проживания ортодоксальных евреев.

ведь теперь одна, и самое правильное, что ты можешь сделать, это сдвинуться с места и жить поближе к нам.

Сестра его хранила молчание – но не потому, что считала сказанное братом лишенным логики, а потому что не верила, что их мать вот так возьмет и соберется покинуть Иерусалим... что согласится расстаться со старой их квартирой – старой, но такой удобной, просторной, в которой провела она большую часть своей жизни, и переехать в крошечную квартирку в неприглядном строении для людей преклонного возраста, другого социального слоя, в городе, который всегда казался ей неприглядным.

Но Хони оказывал давление и на сестру. Сейчас, после смерти отца, ему трудно было взять на себя все хлопоты по уходу за матерью. «Если уж ты собираешься покинуть страну, чтобы избежать какой-либо ответственности за судьбу своих родителей, – неотступно повторял он, встречаясь с сестрой, – то помоги, по крайней мере, тому, кто остается на посту, а не удирает».

Это было прямым оскорблением. Она готова была покинуть Израиль вовсе не потому, что хотела избежать ответственности, но потому лишь, что не могла найти достойного места ни в одном из местных оркестров.

– Да любой из них с радостью возьмет тебя, если только не заломить себе зарплату выше крыши и не потребуешь себе сверхисключительного, аристократического инструмента, вместо демократического, как у всех.

Она зашлась в смехе.

– Демократический инструмент? Это еще что такое?

– Ну... флейта, скрипка... пусть даже труба.

– Труба? Да ты первый проклянешь все на свете.

– Я уже проклял, но раньше, чем ты снова бросишь эту страну, помоги мне уговорить маму бросить Иерусалим. После этого можешь с чистой совестью оставаться в своей Европе до конца своих дней.

Вопреки едким шуточкам и сарказму взаимная их привязанность всегда оказывалась сильнее разногласий, и когда он подшучивал над нею, она, в свою очередь, расплачивалась с ним приводившими его в смущение эпизодами из его детства, рассказывая при всяком удобном случае, как она вызвана была из класса уже в старшей школе в детский сад своего брата, который вовсю проказничал вместе с дружками-разбойниками и в наказание вынужден был просидеть взаперти в ванной комнате, пока не пришла за ним сестра, чтобы отвести его домой. И весь путь от детского сада до родительского дома на улице Пророков он сотрясал воздух воплями, заставлявшими встречных вздрагивать и смотреть им вслед.

Теперь Хони в свои тридцать шесть превратился во владельца медиакомпании, по большей части успешного бизнеса, и пользовался в борьбе за место под солнцем безоговорочной поддержкой своих сотрудников. Но жизнь его легкой не была. Жена, которую он обожал, была художницей, завоевала прочную репутацию среди знатоков живописи и владельцев галерей, но картины ее были слишком интеллектуально и избыточно сложны, и покупатели не спешили приобретать их. Быть может, этим объяснялась та горечь, с которой она растила троих детей, не в состоянии уделять достаточно внимания старшему их сыну и слишком часто плакавшей младшей дочери. Вот почему Хони снова и снова поторапливал мать оставить Иерусалим и поселиться поблизости от его квартиры в Тель-Авиве – не из-за экономических проблем, а исключительно из-за собственных его обстоятельств, особенно усложнившихся после смерти отца, которому он был преданным и заботливым сыном и уход которого делал и без того тяжелую его жизнь тяжелее и тяжелее.

Она наклонила кровать с легким электрическим жужжанием и ловко запрыгала на одной ноге, вспоминая при этом мелкие шажки ее отца в одну штормовую ночь и направляясь при этом к огромному окну столовой, чтобы взглянуть на золотую планету сквозь железную решетку. Один высокообразованный ее друг, скрипач, настоящий эрудит из оркестра Арнема, изучив происхождение ее израильского имени, Нога, объяснил ей, что в мифологии Венера была не только и не просто женщиной, но и воплощением нечистой силы, дьяволицей, впрочем, он воздержался от дополнительной информации. На тихой и пустынной улице молодая женщина в поражающем воображение блондинистом парике тащила полусонного школьника, крепко держа его за руку: светлые его пейсы вились, падая на плечи из-под маленькой черной шляпы. Она пристально смотрела на эту пару до тех пор, пока они не свернули за угол, а затем отправилась в бывшую детскую, где, настезь раскрытые, лежали два ее чемодана, словно тоскуя в предчувствии возвращения в Европу. В углу, завернутый в клеенку, дожидался своей участи музыкальный инструмент, который Хони извлек из кладовки, и теперь ей предстояло решить, что с ним делать. Когда она окончила среднюю школу, отец удивил ее этим подарком, являвшим собой нечто среднее между арфой и восточной лютней, он откопал это чудо в антикварном магазине в восточном Иерусалиме. Инструмент имел двадцать семь струн, частью оборванных, частью потрепанных, то, что осталось, издавало жалобный звук при легчайшем прикосновении. Во время одного из предыдущих ее визитов в Израиль она решила взять диковину с собой в Арнем и разыскать молодого европейского музыканта, сходившего с ума по таким

вот историческим раритетам. Что-то подсказывало ей, что если даже в Голландии, в ее городке, насквозь пропитанном духом многовековой культуры, усиленным близостью к германской границе, она не найдет нужного мастера по ремонту старинных инструментов, вероятность того, что он отыщется в другом месте, становится ничтожно мала.

В самом начале временного ее пребывания в Израиле она ужасно скучала по своим музыкальным занятиям. Даже если бы ей каким-то образом удалось осуществить весь многострунный ремонт ее детской арфы, это не могло бы удовлетворить ее страсть к тембру арфы настоящей. Через неделю после ее прибытия в Израиль она попала на концерт Иерусалимского симфонического оркестра и в перерыве познакомилась с арфисткой родом из России и поинтересовалась, не разрешит ли та ей порепетировать на арфе, принадлежавшей оркестру в то время, когда инструмент будет свободен. «Дайте мне подумать, – сказала молодая женщина, внимательно изучая среднего возраста незнакомку из Иерусалима, прикидывая, скорее всего, не собирается ли та вернуться в Израиль, нацелясь занять ее место. – Оставьте мне свой номер телефона, – без энтузиазма продолжила она. – Я вам позвоню». И, как и следовало ожидать, правообладательница редкой позиции, обещавшая в конце разговора с Нόгой «подумать», так и не нашла в себе для этого сил, хотя к тому времени страстное желание Нόги сошло на нет. В следующие десять недель испытательный период ее работы помощницей истек, так что все, что ей оставалось, это вернуться к своей арфе, ожидавшей в подвальном этаже голландского концертного зала хозяйку, которая, в свою очередь, ожидала предстоящего исполнения «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза.

А пока что она вступила в борьбу с рычагами, оснащавшими кровать, электрический механизм которой скрывался в поддоне, утопленном в пропыленном черном ящике. Кровать эта, странное сооружение из числа старой мебели, перекочевавшей сюда из прежней иерусалимской квартиры, была желательным добавлением после отцовской смерти, утешением и компенсацией владелицы квартиры и достойной памятью о муже, покинувшем сей мир в полной тишине. Вне всякого сомнения, только после оглашения завещания кровать могла обосноваться на этом месте – на месте прежней раздолбанной, узкой и тем не менее двуспальной кровати, по праву замененной такой вот изощренной игрушкой, сделанной руками Иосифа Абади, молодого и талантливого инженера, работавшего с ее отцом в муниципалитете и поддерживавшего дружеские с ним отношения после выхода отца на пенсию. Во время недельной *шивы** Адаби и его жена ежедневно навещали скорбящих, принося им еду и газеты, заверив в готовности своей помочь в решении любых проблем, неизменно возникающих после чьей-либо внезапной смерти. Вдове случалось прибегать к помощи Иосифа по вопросам, связанным с перемещением старой двуспальной кровати, которую она предназначала для передачи молодой паре из Иерусалима – безразлично – еврейской или арабской, поскольку с тех пор, как ее муж оставил сей мир, она ощущала желание расчистить спальню, сделав ее как можно просторнее, обойдясь при этом для себя обыкновенным односпальным ложем. Но молодой инженер выразил решительный протест. Зачем ограничиваться простым и незамысловатым спальным местом, если можно насладиться всеми радостями наилучшего произведения технического прогресса? Годом ранее в крошечной мастерской он из ничего создал отличную больничную кровать для

* Шива (*ивр.*) – семь дней траура по умершему.

своей весьма преклонных годов тетушки, оснатив ее хитроумным механизмом, управляемым набором рычагов и педалей. Теперь он предлагал собрать подобную же кровать вдове. Кровать эта должна была быть оснащена набором приспособлений для движения во всех направлениях и позициях, при том что управление ими будет простым, удобным и легким. Подниматься и опускаться, и помогать без дополнительных усилий покидать постель. Приспособления помогали поднимать отдельно изголовье, фиксируя положение головы над горизонтом; такие же удобства создавались и для ног, позволяя удерживать их для отдыха на требуемом уровне.

Поскольку на первых порах никто не понимал, к чему все это приведет, любезное предложение молодого технического гения не было отклонено, и когда *шива* закончилась, рабочие из департамента водоснабжения переместили кровать бывшего своего руководителя, заменив деревянную на электрическую, а вполне удовлетворенный молодой автор с удовольствием объяснил ошеломленной, но и тронутой вдове, как может она сделать свою жизнь много комфортней одним движением пальца.

– Но почему вы никогда не говорили моему мужу об этой кровати? – спрашивала она. – Вы могли бы соорудить для него такую же. И он перед смертью даже получил бы удовольствие.

Инженер-изобретатель только рассмеялся в ответ:

– Ну уж нет. Он никогда не согласился бы расстаться с вашей старой деревянной двуспальной кроватью.

– Пожалуй, это правда, – признала вдова, по-девичьи розовея. – Похоже, что вы знали его лучше, чем я. Не удивительно, что он так вас любил...

И, вдыхая ветер победы, она потребовала от сына, чтобы он, Хони, тоже лег на необыкновенную кровать, дабы убедиться в необыкновенных ее достоинствах.

– Ты видишь? Нет теперь мне никакого резона покидать Иерусалим. Выдающаяся кровать – такая вот, как эта, – позаботится обо мне и сама решит все мои проблемы.

Но тверд и непреклонен был полученный ею ответ сына:

– Даже многократно превосходящая все остальные на свете кровати не в состоянии в минуту крайней необъяснимости проделать все, что требуется одинокому человеку. Но если она может сопровождать хозяйку, одновременно облегчая ее жизнь, пусть останется для нее полезным партнером.

4

Накануне вечером, перед закатом, Нόга ожидала своего автобуса на перекрестке улицы Иешиягу и аллеи Пророков. Толпа ультраортодоксов из районов Геула Керен Авраам не торопясь стекалась по направлению к центру города, стараясь держаться подальше от одиноких женщин. Но поперек улицы, позади того, что когда-то было кинотеатром «Эдисон», огромная фигура сидела неподвижно на автобусной остановке, пряча лицо под шляпой. Был ли это живой человек? Внезапно по телу Нόги пробежала дрожь из-за воспоминания о последнем сне; оно обрушилось на нее, она была к нему не готова, ибо он касался смерти отца, случившейся полгода назад. Нерешительно, преодолевая страх, она перешла улицу, и, несмотря на вероятность того, что это был всего лишь *хареди* невероятных размеров, остановившийся, чтобы перевести дыхание, она отважилась протянуть руку и дотронуться до шляпы, чтобы посмотреть в воспаленные синие глаза пожилого мужчины из массовки, ожидавшего того же автобуса.

Она его узнала.

Человек этот был некогда служителем правосудия муниципального суда. Сейчас он был на пенсии и благодаря необыкновенному своему росту и необъятным размерам часто бывал востребован киношниками при сколачивании массовки. Долгие годы жизни провел он в спокойном бездействии, восседаая в судейском кресле, льстил себя надеждой провести оставшиеся годы, ожидая, когда сами по себе к нему приплывут, в награду за терпение, новые и необыкновенные роли, прославив его по всему Израилю. Благодаря значительному его опыту в качестве участника массовых съемок он имел на это все основания, но тем не менее каждый раз пока что не знал и, более того, даже не представлял – в какой роли доведется предстать перед публикой на этот раз. Продюсеры, прожженный народ, неохотно ставили в известность участников массовки о деталях предстоящих съемок, не без оснований опасаясь, что собравшаяся публика в последнюю минуту может дать задний ход. К примеру, не каждый из пришедших на съемку рвался засветиться в рекламе. Люди всегда рады были принять участие хотя бы в самой незначительной и даже маргинальной, но роли, пусть не слишком удачно прописанной и надуманной, но чаще всего уклоняясь от бессмысленной массовки, вызывавшей зевоту и желание уйти домой, – не говоря уже о сомнительных и натуралистичных сценах, недостойных, пошлых и унижительных для любого из участников.

– Авы, ваша честь, – Нюга вежливо спросила пожилого статиста, – вы тоже питаете отвращение к рекламе?

Оказалось, что вышедший в отставку судья совсем не прочь появиться в коммерческих фильмах, рекламирующих сомнительного качества продукты или услуги. Его сын и дочь стеснялись за него в подобных ситуациях, но внуки всегда с восхищением встречали

его появление на телевизионном экране. «У меня нет врагов, которым доставляло бы радость высмеивать меня, – шутил он. – А как судья я всегда предпочитал штрафовать провинившихся, а не отправлять их за решетку».

Подкатил желтый микроавтобус с одиноким мужчиной внутри, человеком лет шестидесяти с лицом усталым и смуглым, который, по-видимому, узнал ее, потому что после того как Нюга и отставной судья забрались внутрь, поспешил подсесть к ней и дружеским тоном, слегка заикаясь, произнес:

– Это хорошо, что вы вернулись с того света.

– С того света?

– Я имел в виду – после того, как вас убили, – уточнил он, после чего отрекомендовался как один из участников массовой, снимавшейся ночью неделю назад, в сцене, когда беженцы высадились на берег.

– И вправду, – сказала она удивленно. – Выходит, вы тоже были в старой лодке. Тогда почему я вас не узнала? Мы отплывали и высаживались целых три раза.

– Нет, в лодке с беженцами меня не было. Они держали меня на вершине холма с п-п-полицейскими, которые по вам стреляли. Это было весьма удобно... – и он рассмеялся с искренним удовольствием, хотя и не без смущения, что делало его заикание более заметным: – Эт-то б-был я, кто т-трижды вас убил, хотя каждый раз мне было вас оч-чень жалко.

– Жалко? Почему?

– Потому что, несмотря на темень и лохмотья, в которые они вас обрядили, выглядели вы еще красивее и загадочнее, чем издавека, и я надеялся, что режиссер позволит вам подняться, с тем чтобы мы могли пристрелить вас с короткой дистанции.

– Ах, нет, – вздохнула она с улыбкой, – у режиссера не хватило на меня терпения, и мы всякий раз

возвращались к моменту высадки, и он настаивал всякий раз, чтобы я пала на землю бездыханной как можно скорее, причем советовал мне лежать тихо, не на животе, а перевернувшись на спину – так, чтобы камера могла как можно реальнее засвидетельствовать вашу жестокость.

Нóга искренне сочувствовала участнику массовки, видя, как он заходится, смеясь, в жестком кашле. Он был симпатичный, с худым, морщинистым лицом – все искупал мягкий, добродушный взгляд. Прерывистое, как у ребенка, заикание возникало совершенно неожиданно. На мгновение она решила признаться ему, что на самом деле ее ничуть не огорчали моменты, когда от нее требовалось изображать мертвую. Весеннее небо было просто забито звездами, сиявшими как-то особенно ярко, а от песка шло тепло, скопившееся от дневного солнца. Крошечные раковины, приставшие к ее лицу, напоминали ей о пляже Тель-Авива, где некогда она и бывший ее муж всю ночь предавались любви.

– А что вы делали после того, как всех нас отправили на тот свет? – спросила Нóга.

– Мы быстро переоделись и превратились в фермеров, которые прятали героиню.

– Героиню? Между нами была героиня?

– Разумеется. Она была в лодке вместе с вами, по сценарию она была беженкой, которую волею автора пощадила смерть и позволила найти убежище в деревне. Они что, не посвятили вас в перипетии и интриги фильма? Или по крайней мере в то, что относилось к сцене на пляже?

– Может быть, и посвятили, только я, скорее всего, пропустила это мимо ушей, – с виноватым видом призналась она. – Ведь я снималась в массовке впервые в жизни, и мне казалось неудобным и даже неприличным влезать в то, что прямо меня не касалось.

– Если э-т-то так... – его заикание стало заметнее... – т-тогда не уд-дивительно, почему они р-р-решили при-кончить вас п-пораньше.

– Почему же?

– Потому что, скорее всего, вы, как новичок... я имею в виду, как новое лицо в массовке... да, я думаю, что вы... п-пялились в камеру. Вели себя неестественно. Но как вы вообще влипли во все это? Чем вы занимаетесь в реальной жизни? Вы случайно не из Иерусалима?

Поскольку вопрос был задан предельно вежливо, она после некоторого колебания решила все-таки на него ответить. После довольно продолжительной паузы она сказала:

– А почему бы вам предварительно не представиться?

– С удовольствием, – ответил мужчина, – я такой ветеран массовых съемок, что операторы не спешат приглашать меня. Потому что зрители уже ко мне пригляделись и запомнили по другим фильмам. Годами я был офицером полиции, но затем легкое мое заикание, которое вы, скорее всего, заметили, стало, увы, сильнее; мне пришлось поэтому выйти, так сказать, в отставку. Сейчас мне приходится жить только на пенсию. Но сегодня не предвидится ни стрельбы, ни покойников... и я не скажу, что слишком этим огорчен. Сегодня нам придется тихонечко сидеть, изображая из себя членов ж-жюри присяжных и слушать, как развивается ход судебного процесса – вплоть до того момента, пока один из нас не огласит вердикт.

– Жюри? – встрепенулся судья, прислушавшийся к разговору со своего места прямо перед ними. – Вы уверены, Элизер? Здесь, в Израиле, у нас нет суда присяжных.

– Вы правы. Но, может быть, сцена происходит где-то в другом месте. В наши дни в Израиле прокатчики обожают показывать иностранные фильмы, тем более

что время от времени можно увидеть работы таких превосходных мастеров, как Бергман или Феллини. Так почему бы однажды не появиться и жюри?

Микроавтобус, прибавив скорости, выскочил на шоссе, выющееся по подножью автомагистрального кольца вокруг Иерусалима, но вскоре притормозил в предместье Мевасерет-Цион; здесь, на автобусной остановке, с десятков мужчин и женщин разного возраста уже дожидались их.

– Смотрите, – сказал Элиэзер. – Вы можете сосчитать. Включая нас, здесь как раз двенадцать членов жюри присяжных. Прибавьте еще одного на тот случай, если кто-то заболит или исчезнет. Но почему вы не хотите рассказать, что привело вас к нам? Это что – секрет? Или какая-то проблема?

– Никакого секрета нет, – сказала арфистка, улыбаясь. – Всего-навсего – небольшая проблема.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА